

рый принято ссылаться, его самого не спрашивая. Наиболее трудно проходимым слоем российской культурной почвы является, на мой взгляд, тот, который принято называть «русской духовной элитой».

Казалось бы, этот слой всегда был очень чутким к новой западной культурной моде. Однако подражательность русской элиты избирательна: она заимствует то, что соответствует ее вкусам, привычкам, а главное — интересам. Я пытался показать, что ныне разные представители этого слоя больше склонны к заимствованию моды «не первой свежести», моды на традиционализм. К сравнению более поздним идеям неомодернизма и неолиберализма русская «элита» в большинстве своем не готова. Она либо не знает этих идей, либо относится к ним настороженно, если не враждебно. Ссылки же на то, что идеи прогресса и свободы отторгаются прежде всего русским народом, движимым некими вековыми традициями, — это, как мне представляется, не более чем бездоказательная отговорка.

Игорь Клямкин:

Есть ли вопросы к докладчику? Пожалуйста, Андрей Анатольевич.

Андрей Пелипенко:

Мне хотелось бы все же понять, в каком смысле говорите вы о кризисе модерна как о кризисе западной цивилизации. Каков масштаб этого кризиса и на чем основан ваш оптимизм относительно перспективы выхода из него? Или вы рассматриваете его по принципу «авось пронесет»?

Эмиль Паин:

Об этом все сказано в докладе, и мне нечего к сказанному добавить. Я понимаю кризис модерна как взрыв традиционализма, как определенный отказ от базовых идей индивидуальной свободы, индивидуального самовыражения, рационального сознания, рациональных легальных основ управления в пользу групповых форм идентичности, коллективных прав и т.д. Но я полагаю, что это явление временное. Во всяком случае, в той сфере, которой я занимаюсь, т.е. в сфере национальной и культурной политики, заметны перемены, свидетельствующие о возврате к формам, напоминающим те, которые доминировали до взрыва традиционализма.

Например, в «Белой книге» Совета Европы по межкультурному диалогу, выпущенной в 2009 году, мультикультурализм, наряду с насильственной культурной ассимиляцией, был признан неприемлемой формой культурной политики. Новая же базовая формула этой политики в ЕС (разделение культуры на публичную и частную), как и до кризиса, настаивает на примате культурной однородности. По крайней мере в публичной сфере. От мультикультурализма на практике отказываются даже те страны, в которых этот принцип был зафиксирован в качестве конституционной нормы.

Михаил Афанасьев:

В Канаде не отказываются.

Эмиль Паин:

И в Канаде происходят изменения. Там приняты новые законодательные акты, увязывающие предоставление льгот иммигрантам с доказательствами их интегрированности в культуру страны или провинции.

против либерализма, они, на мой взгляд, изменяют самим себе, поскольку левая идея есть органическое продолжение и развитие идеи либеральной (даже в вопросе о собственности, что, конечно, требует особого разговора).

Либерал, по моему мнению, — это недоделанный социалист. Ну а те, кого у нас называют коммунистами (типа Зюганова), не имеют ничего общего с коммунизмом в его понимании классиками европейской мысли. Равно как и наша «суверенная демократия» не имеет ничего общего с подлинной демократией.

Игорь Клямкин:

Декоммунизация, о которой говорит Зубов, предполагает не запрет всего и вся, а правовую оценку всех, а не только сталинских преступлений советского режима. У нас же такой оценки нет до сих пор даже в отношении сталинизма. Украинцы сделали важный шаг в этом направлении, дав юридическую оценку голодомору, но у российских властей (и не только властей) это ничего, кроме раздражения, не вызвало.

Очень интересным показалось мне ваше суждение о двух исторических рубежах, все еще не преодоленных Россией. А также о том, что в ее культуре накладываются друг на друга восточный традиционализм и европейский модерн Нового времени. Но хочется все же иметь и эмпирическое подтверждение увиденной вами с высоты теоретического «птичьего полета» картины.

Хотелось бы знать, как культурные особенности разных мировых эпох обнаруживают себя в сознании современных россиян, как и в каких пропорциях проявляются в различных социальных группах. Равно как и то, как воспринимаются этим сознанием либерализм, социализм и возможный союз между ними. Думаю, что и вам такая информация была бы небезынтересна.

Следующий — Андрей Анатольевич Пелипенко.

Андрей Пелипенко:

«Мне кажутся тщетными надежды на то, что Запад в очередной раз найдет способ преодоления кризиса, сохранив при этом свое системное качество»

Попытаюсь сказать то, о чем еще не говорили. Вернусь к самому началу сегодняшнего разговора — к вопросу о кризисе западной цивилизации. Если рассматривать его не только с политологической и социально-экономической точек зрения, а в более широком контексте, то все-таки есть очень серьезные основания говорить о том, что это кризис не структурный, а системный.

Игорь Клямкин:

Эмиль Абрамович, пометьте себе — это прямо направлено против того, что вы написали в докладе...

Андрей Пелипенко:

У нас принято определять свою позицию в жесткой дихотомии: либерализм — имперский шовинизм. Если ты не шовинист, то автоматически оказываешься в лагере либералов с соответствующим ярлыком. А если не либерал, то непременно будешь зачислен в разряд шовинистов. При этом в интеллигентском сознании существует барьер, не позволяющий признать возможность существования в отношении Запада других позиций, кроме либерально-западнической. Барьер этот проистекает из убеждения, что Запад — этаким спасительный и неизбывно притягательный берег, вечный и почти метафизический «свет в окне», с которым связаны все надежды на выход из российского кошмара. Это поезд,

стремление догнать который въелось в подсознание в качестве универсальной стратегии выживания и противостояния российскому авторитаризму, имперству, социально-экономической отсталости.

Такое убеждение, разумеется, не безосновательно. Не будь Запада — не было бы и самой русской интеллигенции. К тому же нетрудно представить, как бы вела себя наша «родная» имперская власть, если не была бы вынуждена хоть как-то считаться с Западом и хоть иногда в чем-то соблюдать некоторые приличия.

Поэтому констатация того факта, что великая западная цивилизация входит в стадию своего угасания и ухода с исторической сцены, у нас принимается крайне нервозно, неохотно и болезненно. Обычно, старясь отмахнуться от неприятной темы, кивают на Шпенглера: он, дескать, тоже поторопился похоронить Европу! Но если Шпенглер и поторопился, то это значит, что его прогноз оказался преждевременным, и вовсе не значит, что он был ошибочным в принципе.

Ссылки такого рода для российского интеллигента-западника — как соломина для утопающего. Ведь если отнять у него вождельный образ спасительного западного пути, то перспектива России становится совсем уж беспросветной, что для склонной к инфантилизму и впечатлительности русско-интеллигентской души оказывается невыносимым. Поэтому за всеми «фольклорными» псевдоаргументами в пользу нетленности Запада и его либеральных ценностей угадываются нервные внутренние вскрики: «Не трогайте священную корову!»

Теперь по существу. Обратившись к философии Нового времени с ее «антропологией недоверия» и к постмодернистской критике всех оснований логоцентрической культурной системы, а также к тем демографическим и социокультурным тенденциям, которые наблюдаются на Западе, по меньшей мере, с 20-х годов прошлого века, мы, если не прятать голову в песок, неизбежно придем к выводу: перед нами все-таки не кризис роста, а кризис конца. Разумеется, на уровне краткосрочных временных конъюнктур Запад способен преодолевать частные проблемы и давать адекватные ответы на вызовы меняющегося мира. Но эти тактические успехи не должны заслонять того, что западная цивилизация как целое не способна и не желает менять свое системное качество, как того требует наступление постлогоцентрической эпохи.

Сейчас мы видим, что Запад в чем-то вынужден перестраиваться и отказываться от наиболее самоубийственных доктрин вроде мультикультурализма. Но стратегически это дела не меняет. Мне кажется, что надежды на то, что Запад в очередной раз вывернется и найдет способ преодоления кризиса, сохранив при этом свое системное качество, как это бывало на протяжении долгого времени, тщетны.

Игорь Клямкин:

А контуры иного, альтернативного качества — они в современном мире, на ваш взгляд, в чем-то просматриваются?

Андрей Пелипенко:

Боюсь, что ответ на ваш вопрос потребует отдельного доклада. В двух словах это очень трудно сказать.

Михаил Афанасьев:

Но это альтернативное качество прорастает внутри Запада или за его пределами?

Андрей Пелипенко:

И внутри, и за пределами. Скажу совсем коротко. Родается новый тип ментальности, имеющий под собой даже некоторую нейрофизиологическую основу. То есть меняется тип доминирования на уровне межполушарной функциональной асимметрии. В историко-эволюционном смысле западный человек оказался «неправильным логоцентриком», своего рода уклонистом, маргинальной формой, ставшей на путь эволюционного прорыва и выхода из логоцентрической системы культуры. Эта система, основанная на левополушарном типе когнитивного доминирования, возникла в первом тысячелетии до н.э. и утвердилась в качестве господствующей в последующую эпоху. Самой «правильной» и последовательной цивилизацией в этой логоцентристской макросистеме была цивилизация ислама. Не случайно именно она господствовала в Средиземноморье в зрелом Средневековье. А западный путь — это изначально путь выпадения из логоцентризма и перехода в новое качество.

В этом смысле западная цивилизация является не столько самостоятельной, сколько переходной — одной ногой она в этом самом логоцентризме, а другой ногой медленно из него выходит на протяжении последних 500 лет. Постмодернизм же доктринально обозначил завершение этого перехода. Ведь постмодернизм (и, шире, постмодерн) — уже иное качество культурного сознания.

Это качество захватывает и незападные страны, вступившие на путь модернизации. Ядро же нового типа ментальности находится прежде всего в тех из них, которые так или иначе связаны с культурно-историческим ареалом Индии, Китая и Дальнего Востока. Этот субъект и несет новое качество ментальности, которую я называю «новой естественностью».

Игорь Клямкин:

Относительно «переходности» западной цивилизации чуть подробнее, пожалуйста.

Андрей Пелипенко:

В XV–XVI столетиях в Западной Европе сформировалась цивилизация, ориентированная на личность. На протяжении эпохи модерна западная личность постепенно расставалась с логоцентрическими традициями — иногда с эйфорией, иногда с мучениями. На этом пути происходило «перекачивание» атрибутов средневекового духовного Абсолюта (как Бога, так и дьявола) в человека и становление персоналистско-гуманистического (в широком понимании) мировоззрения. Происходила замена монотеистических доктрин светскими идеалами Истины, Добра, Красоты, общественного блага, справедливости, прогресса. А потом происходило закономерное их дезавуирование, сопровождавшееся постепенным отказом от парадигмы служения этим идеалам в пользу парадигмы личностной самореализации, которая в полной мере обнаружила себя лишь к XX веку. Так новоевропейская личность за 500 лет своего цивилизационного господства постепенно отрекалась от логоцентрических дискурсов. Апофеозом этого и стал постмодернизм с его ритуальным самоубийством логоцентрического интеллекта.

Сейчас Запад находится в переходном состоянии между умирающим логоцентризмом и новым культурным качеством. Признаки данного состояния очень долго перечислять. Это и кризис традиционной монотеистической религиозности, и всеохватный релятивизм, и та ледяная пустыня отчуждения от любого рода ценностей, что тоже закономерно: западному сознанию изначально была присуща тенденция к отчуждению денотаций. Этим, собственно, и подпитывалась мощь

западного рационалистического интеллекта. Но теперь обнаружилось и болезненные последствия. Я понимаю, что все это надо конкретно обосновывать, но...

Михаил Афанасьев:

Насчет кризиса более или менее понятно...

Андрей Пелипенко:

Хорошо. В данной связи — несколько слов о России. Мы мало что поймем в природе переживаемого ею культурного кризиса, не прояснив смысл, который вкладываем в понятие традиционности. Если мы, говоря о традиционном обществе, просто огульно сбрасываем туда все домодернизационное, то уже тем самым неизбежно искажаем картину происходящего в современной России.

С одной стороны, есть традиционализм архаический, догосударственный, имевший место до возникновения институтов большого общества. С другой стороны, есть традиционализм средневекового логоцентрического общества — скажем, христианского. Это два очень разных традиционализма, и оба они имеют отношение к России.

В ней наложились друг на друга две нерешенные проблемы. Первая — это не до конца преодоленный раскол между догосударственной архаикой и традиционным средневековым обществом. Вторая — раскол между этой архаично-традиционной смесью и культурным пластом, связанным — в широком смысле слова — с модернизацией. А тут подоспел еще и кризис самого модерна...

Игорь Клямкин:

Это, насколько понимаю, полемика не только с Паиным, растворяющим различия между догосударственным и средневековым традиционализмом в понятии домодерного общества, но и с Межуевым, который средневековое европейское общество традиционным не считает, а считает таковым только общества первобытные и восточные.

Андрей Пелипенко:

Мне важно не оспорить чью-то точку зрения, а представить свою. Мой общий вывод: кризис, в котором пребывает Россия, имеет свои собственные имманентные причины, и я их назвал. Но он вместе с тем вписывается и в кризис более широкого, причем не структурного, а системного характера. Того, который я называю кризисом логоцентризма. И потому только в масштабах России выход из него мы не найдем.

Денис Драгунский:

А можно ли как-то обозначить, т.е. назвать одним словом то, что будет после логоцентризма?

Андрей Пелипенко:

Пока не знаю. Надо подумать, поискать термин. Я еще не нашел его.

Игорь Клямкин:

Бывает, что отсутствие термина, характеризующего новое качество, выражает смысловую неопределенность самого этого качества. Спасибо, Андрей Анатольевич. Я хотел бы с вами сразу поспорить, но сделаю это после того, как выступит Алексей Давыдов. Пожалуйста, Алексей Платонович.